

6

Диалектика истории Поршнева

Артемий Магун

Европейский университет в Санкт-Петербурге

Диалектика истории Бориса Поршнева¹

Аннотация

В статье исследуется наследие Бориса Поршнева, выдающегося советского мыслителя-марксиста, который внес вклад в историю, психологию, физиологию и философию с сугубо диалектической перспективы. Поршнева разработал новую гипотезу происхождения человека. Он связал это происхождение с появлением языка, который служил 1) как средство взаимного подчинения и 2) как средство сопротивления подчинению. Яркая, почти мифическая картина праистории человечества в то же время приобрела научную строгость благодаря последовательной диалектической аргументации. Эта аргументация, в отличие от общепринятой советской догмы «диалектического материализма», выдвигает *негативность* как особую силу

¹ Я благодарю Владимира Рыжковского за консультацию по архиву Бориса Поршнева и в целом за помощь в написании этой статьи. Собственная работа Рыжковского с наследием Поршнева даст о нем более полное представление, чем моя статья, написанная на основе его (Поршнева) опубликованных работ.

и момент развития, а *негативность* принимает форму *противоположности*. В статье обсуждается значение теории Поршнева в международном контексте, а также в широком контексте советской не dogматической философии и в то же время разрабатывается общая теория негативности.

Ключевые слова

Поршнева, советская философия, негативность, диалектика, эволюция человека

I. Введение

Судьба советской философии своеобразна. После расцвета и оживленного участия в международных дискуссиях в 1920-е и ранние 1930-е годы она подвергается репрессиям и нормализации со стороны идеологического партийного государства и в то же время все более отделяется от остального мира. Конечно, левые философы на Западе² пытались следить за происходящим в советской мысли, но большая часть философских произведений оставалась непереуведенной, а проблемы и точки зрения обоих регионов со временем расхотились все дальше, так что отсутствие переводов превратилось в принципиальную *непереводимость*. Основной причиной такой принципиальной непереводимости в 1950-е и 1960-е годы была асинхрония: советская философия по большей части являлась нормативной левой теорией прогрессивного стабильного общества, тогда как на Западе левые по большей части оставались негативистскими критиками современности — нормативность оставалась за либералами. В 1970-х и 1980-х условия изменились: советские интеллектуалы стали смелыми и виртуозными *критиками* системы, но «справа». И снова такая позиция почти не представлена на Западе, где правая теория по большей части была государственнической, позитивистской и нормативной (исключением были французские «новые философы», высоко ценимые в кругах позднесоветских интеллектуалов). После распада Советского Союза и полной (пусть

² Предвосхищая потенциальное обвинение в эссенциализме, я уточню, что под «Западом» я имею в виду здесь не-социалистические страны Европы, США и Канаду. В эпоху существования советского режима эта явно сконструированная категория вполне имела смысл и объективное значение.

и короткой) идеологической победы либерализма быстро сошел на нет даже тот небольшой интерес, который советская философия вызывала на Западе ранее.

Были и некоторые исключения из ситуации относительной изоляции: наиболее заметен случай Михаила Бахтина, который, единственный из своих современников, стал международной звездой философии, или «теории», но интерпретировался в основном в отрыве от марксизма и, более того, в отрыве от советских интеллектуальных дискуссий, в которых сформировались его воззрения. К большому сожалению, многие советские мыслители, хотя и были важны для своего времени, в каком-то смысле «пропустили» исторический момент собственной универсальной значимости, так что, воскресшая их сегодня, мы рискуем попасть в уже знакомую колею (именно это, мне кажется, случилось с наследием Эвальда Ильенкова и Мераба Мамардашвили). Тем не менее именно по этой причине некоторые из советских мыслителей достойны перечитывания и перевода, поскольку они внезапно становятся значимыми — «цитируемыми», как говорил Вальтер Беньямин, — в новой исторической ситуации. Так, как я покажу ниже, случай Бориса Поршнева.

Советская философия, за исключением, может быть, ее последних десятилетий, развивалась в привязке к марксизму и советскому социализму, хотя ее лучшие мыслители не совпадали с догматикой «диалектического материализма» (диамата) и часто подвергались репрессиям. Советский период был интеллектуально богат как минимум благодаря щедрой поддержке, которую государство оказывало академической философии и гуманитарным наукам, хотя ценой этой поддержки был идеологический контроль. В интеллектуальном поле доминировал ортодоксальный диамат, основывающийся на трудах Фридриха Энгельса и Георгия Плеханова, догматично представлявших диалектику как форму закона природы; но существовали и альтернативные школы, которые синтезировали марксизм с различными новейшими тенденциями западной и русской мысли и часто предлагали новые, изобретательные и оригинальные теории.

Одна из таких школ, может быть, самая плодovitая и уж точно наиболее известная в международном академическом мире, обогатила марксизм идеей лингвистического опосредования субъективности и исследованиями в области формирования и социальной детерминированности индивидуального сознания. К этой школе, как мы теперь можем судить, принадлежали и круг уже упомянутого Бахтина, и круг Льва Выготского, хотя сами мыслители вряд ли когда-либо встречались друг с другом. Многим ученикам Выготского удалось, пусть с потерями, выжить в сталинскую эпоху, среди них можно назвать Александра Лурию, Алексея Леонтьева, Дмитрия Эльконина и др. Даже работы Ильенкова в 1960-е годы были близки к тому же кругу идей. Борис Поршнева, главный герой настоящей ста-

ть, очевидно, был также наследником этой школы мысли, по крайней мере в своих сочинениях об эволюции человека.

Если очень грубо обобщить основные идеи этой школы, можно выделить следующие:

1. Ключевая роль культуры (как сферы значений и их материальных воплощений) — она главный объект исследования, а не просто «надстройка», как в догматическом марксизме.

2. Деятельность субъекта — ключ к пониманию общества и культуры. Человеческое поведение не детерминировано механическим воздействием физиологического механизма. Культура — идеология в «хорошем» смысле слова. Саморегуляция и самосозидание субъекта или «личности» (в противоположность западному акценту на бессознательному).

3. Человеческая субъективность имеет изначально коллективную природу. Общество, или коллектив, *предшествует* индивидуальной деятельности или личности, в то же время индивидуальное является объектом пристального теоретического и практического внимания.

4. Телеология прогресса, вера в благоприятное воздействие общества на человека.

5. Лингвистическое опосредование: язык является не самодостаточной формой, но незаменимым материальным средством для достижения целей и дальнейшего целеполагания.

6. Роль народа/«обычных людей» в общественной жизни, их стийность как объяснительная категория: этот акцент наиболее важен для Бахтина и Поршнева, но временами появляется и у других мыслителей. Отступая от ортодоксальной «классовой» точки зрения, эта теоретическая позиция восходит к русским народникам XIX века и отражает левую, хотя и не марксистскую, теоретическую точку зрения, вполне допустимую в 1940–1950-е годы, поскольку она совпадала с политическим маневрированием самого Сталина.³

Ни один из этих пунктов не представляет чего-то неизвестного на Западе, а некоторые из них могут казаться наивными или ограниченно-либеральными для современного внешнего взгляда. Однако в совокупности они породили несколько теоретических сочинений огромной интеллектуальной силы. Произведения Бориса Поршнева,

³ С середины 1930-х обращения к классовой культуре постепенно замещаются ссылками на «простой народ» и/или на нацию (нации), возникает тенденция к упрощенным и фольклорным жанрам, жертвы массового террора называются «врагами народа», Конституция 1936 года ссылается как на рабочих и крестьян, так и на «трудящихся» вообще, Сталин обращается к «великому русскому народу» в своем знаменитом победном тосте в мае 1945 года и т. д. (ср. Богданов 2015; Brandenberger 2010); относительно изменений в речах Сталина см. также (Сталин 1935).

безусловно, находятся в этом ряду. Его фигура возвышалась над советской интеллектуальной жизнью, но международную научную известность он получил только в области истории, и то благодаря одному конкретному эмпирическому исследованию, а не в качестве универсального междисциплинарного теоретика и методолога гуманитарных наук, каковым он на самом деле являлся. Работы Поршнева по истории Франции были переведены, стали предметом научных дебатов и теперь являются классическими для этой области. Тем не менее его более позднее исследование эволюции человека, которое является также и его наиболее выдающимся опубликованным достижением в области философии, никогда не было переведено и осталось по большей части неизвестным для международной науки. Поршнева редко упоминают даже специалисты по советской интеллектуальной истории, за исключением Галина Тиханова, который справедливо указывает на исследования Поршнева как на «высокоинтеллектуальные начинания, которые заслуживают того, чтобы сохраниться в тектонических сдвигах истории» (Leatherbarrow and Offord 2010: 330).

Борис Поршнева принадлежит ко второму поколению советских мыслителей, его самый продуктивный период — 1950–1960-е годы. Он родился в 1905 году в семье владельца кирпичного завода. В молодости, перед поступлением в университет, он сбежал в бродячий цирк и был помощником жонглера (деталь, хорошо раскрывающая его зрелую личность и стиль). После принудительного возвращения домой он получил образование в университетах советского Петрограда, а затем Москвы, успешно совмещая изучение истории и психологии (обе дисциплины преподавались на одном отделении социальных наук) с учебой на факультете биологии (который он формально не окончил). Однако в начале своей карьеры он был известен в основном как историк Нового времени. Именно в этом качестве он снискал международную известность, прежде всего во Франции, благодаря своей книге о массовых крестьянских восстаниях во Франции до и во время Фронды. Идея, стоящая за педантичным описанием, основанным на изучении архивов, была простой и «левой»: Поршнева утверждал, что «элитарное» движение Фронды было лишь видимой частью айсберга, скрытым основанием которого являлось крестьянское движение, т. е. фактически несознанная классовая борьба против феодалов. Историю двигают вперед массы, а не элиты, которые живут за счет спонтанности этих масс. Книга была переведена на французский и сильно впечатлила лево-ориентированную публику Франции; в результате возникла интенсивная дискуссия с историком крестьянских восстаний Р. Мунье, который отвергал теорию классов в пользу более подробного эмпирического рассмотрения и видел конфликт в противостоянии феодально организованных сословий и становящегося государства

Нового времени (неявно рассматривая последнее как более прогрессивную силу).

Но, на самом деле, сколь бы ни был общепринятым для советских историков «классовый анализ», фактическая аргументация Поршнева в этой и других книгах по истории была более конкретной и в то же время сопровождалась метатеоретической рефлексией. Это был не обычный экономический детерминизм, но чисто историческая логика, которая использовала *революцию* в качестве основной объяснительной категории.

Написанные в блестящем литературном стиле, книги Поршнева содержат интеллектуальную интригу и изобилуют романтическими образами: например, он метафорически уподобляет народные восстания стихиям — «бурям» и «торнадо». Поршневу скрыто отсылает здесь к известной дискуссии Ленина и Розы Люксембург о роли стихийности и сознательности в революции: и то и другое необходимо для успеха. Но Поршневу метафорически подчеркивает разрушительность «стихий». Таким образом, он неявно соглашается с анархической традицией, в особенности с Бакуниным, о котором он написал свою первую историческую работу (Кондратьева 2012).

Кульминация исследований Поршнева по истории XVII века — систематическая работа «Феодализм и народные массы» (1964), в которой автор настаивает на существовании формации феодализма и описывает историю как постоянную классовую борьбу. Возможно, в этой книге наиболее интересна не сама теория феодализма, но изложенная попутно теория рабовладения в архаических обществах. Поршневу утверждает, что для таких обществ характерно не только внутреннее классовое деление, но, что более существенно, «внешнее государство», которое ориентировано на охоту за рабами в прилегающих «варварских» сообществах (Поршневу 1964: 513–514). Цивилизованное государство и дикие племена, за счет которых оно живет, находятся в определенном симбиозе. Для Поршнева это (на тот момент) скрытая ссылка на разрабатываемую им, но еще не опубликованную теорию архаического прачеловеческого общества, состоящего из канибалов и прирученных ранних людей, которыми они питались. Эта теория, очевидно, экстраполирует на древние общества знаменитую теорию капитализма в интерпретации Люксембург (Люксембург 1934 [1913]). Поршневу знал ее и ссылался на эту работу в одном из неопубликованных набросков «О начале человеческой истории».⁴ Теория архаического общества Поршнева соответствует капитализму в понимании Люксембург: режиму, который паразитирует на некапиталистических отношениях, включенных в рынок через завоевание или внутренние преобразования, и выжимает прибавочную стоимость.

⁴ См. (Вите 2007: 479).

Феодализм, в свою очередь, кажется Поршневу «феодалным синтезом» между упомянутыми противоборствующими группами в античности, цивилизованными государствами и «варварами»; последние были той негативной и деструктивной силой, которая раздробила великие империи античности на маленькие королевства и крепости. Они и определили собой негативность, таящуюся в системе феодализма:

Одинаково прав и тот историк, который отмечает падение античной техники, и тот, который обращает внимание на усилившуюся расчистку лесов, прогресс системы севооборота, успехи скотоводства; но дело не просто в падении одного, подъеме другого, а в появлении, развитии и прогрессе чего-то третьего — нового качества, которое рождалось в этом упадке и в этом подъеме [...] Но в общем нам важнее подчеркнуть, что всякое европейское феодальное государство таило в себе и политическую тенденцию превращения в наднациональную державу, и обратную политическую тенденцию распада на древние племенные части, но в конечном счете эти тенденции все более взаимно аннулировались, а новое качество все тверже удерживалось между двумя крайностями (Поршневу 1964: 515–516).

В 1966 году Поршневу опубликовал теоретическую работу «Социальная психология и история» (Поршневу 1978 [1966]), стремясь обеспечить метатеоретическую антропологическую основу для исторических нарративов, которые он описывал в предыдущих книгах. Конечно, речь идет об антропологии классовой борьбы, ключевое свойство которой — классовая идентичность. Но здесь мы ступаем на менее ортодоксальную для марксизма почву, потому что более широкая «психологическая» точка зрения Поршневу состоит в том, что все человеческое поведение обусловлено самоидентификацией субъекта в качестве «мы» против «них». Таким образом, субъект предшествует любым своим существенным определениям, но «Я» (в отличие от Фрейда) всегда вторично по отношению к коллективному «мы». Что касается окружающих, люди определяют их как «нас», «их» или «тебя». «Ты» у Поршневу (в отличие от «диалогических» гуманистов, таких как Людвиг Фейербах или Мартин Бубер) — неопределено, это напряженное пересечение между «мы» и «они», когда еще только происходит выбор, в какую из этих двух категорий определить нового человека. Общность «мы» возникает *стихийно*, и Поршневу эксплицитно останавливается в этой книге на вопросе *стихийности* и организации. Язык здесь играет ключевую роль, поскольку является мощным инструментом суггестии, и поэтому субъект определяет «нас» как группу, с которой он/она не боится разделять общий язык. По Поршневу, это объясняет нецелесообразное умножение

числа диалектов в смежных областях: социально-политическое обособление от соседей требует изменения языка в целях минимизации внушаемости. В книге также кратко излагается теория языка, которую Поршнева в это время разрабатывает для своего проекта о начале человеческой истории.

Все то время, что он писал исторические тексты, т. е. последние тридцать лет своей жизни, Поршнева работал и над совершенно иной темой: *праисторическое начало человечества*. Уже ранее, занимаясь историей революции XVII века, он подготавливал свое «возвращение» к психологии, окончательно вернулся к которой в 1950–1960-е годы, но социальная психология массового сознания была бы недостаточной без материалистической теории человека, которая включала бы нейрофизиологию. Для Поршнева ранняя человеческая история была как философским, так и эмпирическим ключом — истоком в полном смысле немецкого *Ursprung* — к вопросу об истории и объединила его богатый исследовательский опыт в истории и психологии. Решение рассмотреть палеонтологические дискуссии как часть *исторической* дисциплины, в то время как обычно они относятся к антропологии, если не к биологии, уже было смелым шагом: Поршнева интересуется порог — не просто человечества, но неопределенной, постоянно развивающейся и конфликтной *сущности* человека в ее историчности.

Поршнева тщательно изучил исследовательскую литературу и создал свою теорию, опираясь не только на палеонтологические данные, но и на традицию эмпирической психофизиологии. Итоговая картина, опубликованная посмертно в 1974 году в отцензурированной и сокращенной версии книга «О начале человеческой истории», представляла собой великолепную реконструкцию, где, в отличие от его исторических работ, непосредственно смешаны философская рефлексия и описательное повествование. Эта реконструкция граничит с *мифом* (что объединяет все истории о началах), но избегает его благодаря постоянному использованию диалектической логики. Книга должна была стать второй и центральной частью трилогии под красноречивым названием «Критика человеческой истории» — философской *суммы*, посвященной истории человечества в ее целостности (Поршнева 2007: 11). Обширные наброски других двух частей существуют в архиве Поршнева (с которым я работал), но советский ученый не смог их завершить из-за своей преждевременной смерти в 1972 году, отчасти вызванной идеологически мотивированным отказом издательства печатать его книгу.

Очень приблизительно аргументацию изданной книги можно резюмировать так. *Люди появились благодаря изобретению языка, орудия суггестии (внушения), которое позволило им подчинить животных и другие человеческие группы своей воле, а также сопротивляться воле других людей.*

Как и в случае с «Социальной психологией и историей», мы с удивлением обнаруживаем, что, по-видимому, убежденный ортодоксальный марксист отстаивает теории, которые не кажутся особенно марксистскими ни нам, ни казались таковыми и его современникам. Так, «Социальная психология и история» напоминает, скорее, Карла Шмитта. Впоследствии некоторые американские и британские социальные психологи пришли к выводам, похожим на идеи Поршнева, и подтвердили их: в качестве примера мы можем привести теорию «социальной идентичности» Генри Тэджфела и Джона Тернера, созданную почти одновременно с теорией Поршнева (Tajfel 1978).

«О начале человеческой истории» фактически отрицает «марксистскую» (в действительности, энгельсову) теорию «трудового происхождения человека» или, скорее, изменяет ее, утверждая, что труд стал возможен лишь в результате подчинения или самоподчинения посредством языка. Возникновение человеческих отношений обусловлено властью и господством: подобное представление переворачивает и дополняет революционно-народническую онтологию книг Поршнева о феодализме. Поршнев при этом ссылается на русских «материалистических» и «механистических» физиологов Павлова и Бехтерева и на несколько менее материалистического физиолога Алексея Ухтомского, но использует их догадки для создания оригинальной онтологии. Если опять сравнить с чем-то западным, то можно сказать, что его теория человека напоминает Ницше (которого он, конечно, никогда не упоминал) и смешивает циничные ницшеанские идеи о всеобщей борьбе за господство со своеобразным гегельянским марксизмом в диалектике раба и господина. Поразительная эволюция для теоретика классовой борьбы! Далее я более подробно проанализирую поршневскую теорию происхождения человека.

II. Теория эволюции человека

В книге «О начале человеческой истории» Поршнев развивает сложную диалектическую теорию, которую я здесь постараюсь резюмировать.

Истинная наука истории или философия истории должна ставить вопрос о *начале* человека, поскольку именно здесь заканчивается природа и начинается история. Начало в строгом смысле (не то же, что причина, но причина исторической причинности) — ключ к сущности человека, поскольку, если ей необходимо быть историчной, чтобы свободно развиваться во времени, то и возникнуть она должна *исторически*, в свою очередь как некое событие, а не просто как дар небес. В этом состоит преемственность, которая соединяет палеопсихологическую работу Поршнева с его «нормальными» исторически-

ми исследованиями и ведет его к фундаментальным вопросам об истории как философской дисциплины. «Мы близимся в науках о человеке к такому сдвигу, который можно сравнить с революцией в физике, развернувшейся в первой половине XX в. Роль, аналогичную “атомному ядру”, здесь сыграет начало человеческой истории» (Поршнева 2007: 381). Основная идея опубликованной книги «О начале человеческой истории» ограничена вопросом о начале.

Но, как уже упоминалось, эта книга должна была стать томом более крупной и амбициозной работы под названием «Критика человеческой истории». Последний из ее набросков, хранящихся в архиве Поршнева, носит название «История и философия». Линия аргументации, изложенная здесь, более всеобъемлюща. Рукопись начинается с вопроса о *конце истории* и утверждает, что «понятие конца истории логически приводит к вопросу о начале истории» (Архив Поршнева: е.хр. 1, л. 47). Книга «О начале» должна была стать лишь вторым томом. Вопрос об эсхатологии для Поршнева предваряет вопрос о происхождении. Человеческая история приобретает смысл исходя из логических и реальных границ, в которых она существует. То, что рождается, — умирает, то, что может подойти к концу, — когда-то имело начало. Конец и цель истории — это постепенное самоопределение человечества, т. е. преодоление того насильственного начала, посредством которого оно когда-то разорвало свою связь с природой. Тем не менее в этой статье я, следуя опубликованной части наследия Поршнева, сосредоточусь на историческом *начале*.

1. Люди — говорящие животные: это объясняет не только сознание, но также историю, которая именно поэтому представляется как история нарастающей классовой борьбы и классового господства. Господство одних людей над другими — факт, который стал возможен только благодаря языку. Другие существенные характеристики человека в этом случае вторичны по отношению к языку: как труд (результат лингвистического предписания господина в отношении к рабу), так и сознание (инструкция самому себе, господство над собой, как Лев Выготский уже объяснял его, следуя в этом за Пьером Жане [Выготский 1983: 142–143 и далее.]). Поэтому язык необходимо рассматривать как конститутивный факт власти.

2. Ранние люди выжили на земле без средств защиты от хищников. Можно предположить, что они могли каким-то образом останавливать их или контролировать их с помощью собственного голоса. Или, что более вероятно, они приручали одних хищников и использовали их против других. Но и до и после этого они применяли свою силу «внушения» *друг против друга*, что постепенно привело к разделению вида на господствующую и подчиненную группы. Будущие «люди» («неоантропы», как их называл Поршнева) возникли из этой последней, подчиненной группы.

3. С точки зрения нейрофизиологии это означает, что ранние формы языка должны были развиваться через «тормозную доминанту»: раздражитель, который блокирует действие, заставляя выбранное животное воспроизвести *антагонистичное* ему действие путем стихийной имитации. Экспериментально, как показывает Поршневу, любая двигательная система в организме имеет подобного антагониста: некий моторный комплекс, несовместимый с движением, блокирует его. Поршневу опирается на важную физиологическую теорию «доминанты» русского физиолога Ухтомского. Согласно этой теории организм не просто реагирует на значимый раздражитель посредством условного или безусловного рефлекса, но и накапливает *незначимые* раздражители, которые усиливают доминантную реакцию (Ухтомский 2002). Таким образом, «рефлекс» Павлова на самом деле является реакцией не только на пусковой раздражитель, но — после возникновения значимого пускового раздражителя и в определенной точке возбуждения — на *любой* раздражитель. Таким образом, деятельность является, так сказать, всеобщей мобилизацией организма. Ухтомский интерпретирует здесь известную ранее «воронку Шеррингтона» в терминах Рихарда Авенариуса. А Поршневу добавляет «тормозную доминанту», центр, который обездвигивается при избытке раздражителей, тем самым способствуя сцепленному с ним действию-антагонисту. Движение, которое, таким образом, физиологически исключает другое, является первым лингвистическим *знаком*. Следовательно, язык изначально был *запретом*, означал «нет». В этом смысле «доминанта» обнаруживает ранее скрытую коннотацию доминирования, негативное условие любого позитивного порыва.

4. Однако это еще не конец нашего пересказа. Простой запрет по-прежнему остается неопределенной преградой: в частности, он блокирует агрессивное поведение, позволяя контролировать противника. Но на следующем уровне ранние люди развили навык *противодействия запрету*, снова используя физиологических антагонистов и налагая их в свою очередь на предшествующие сигналы. Такой антисигнальный язык был ближе к нашему: он вывернул наизнанку некоторые качества исходных сигналов. Но и это не конец: был еще и третий уровень, отрицание отрицания, посредством которого запрещающие научились пробивать барьеры контрязыка. И только здесь мы опознаем подлинное лингвистическое предписание, на полном уровне определенным позитивным содержанием: на этом уровне происходит постоянная игра сил внушения и сопротивления. Поршневу резюмирует вышеперечисленное, используя категории модальности Канта: первый запрет сообщает «не позволено», контрзапрет настаивает «позволено», окончательное предписание утверждает: «ты должен» (Поршневу 1974: 432).

5. Гипнотизеры из числа ранних людей направляли силу речи на соплеменников, но контргипнотизеры направляли ее также и на

самих себя, тем самым создавая политическую власть, сознание и труд. Суть истории заключается не в отношении человека и вида, но в разделении *внутри* вида на «мы» и «они», в отношениях господства и освобождения. Согласно Поршневу, современные люди возникли из подчиненного класса, который сопротивлялся и бежал от своих хозяев-людоедов. Но хозяева, «палеоантропы», как полагал Поршневу, также выжили и существовали параллельно с новыми людьми. Более того, он считал, что эти монструозные пралюди существуют до сих пор, и с энтузиазмом относился к популярным тогда поискам «снежного человека» или «йети» (Поршневу 1963, 2012). (Этот «сенсационный» момент плохо повлиял на его репутацию, хотя, в принципе, в открытии «реликтового гоминоида» не было ничего невозможного.) Тем не менее Поршневу настаивает, что вид по аналогии продолжает разделяться на господствующую и подчиненную группы (классы) и развивается благодаря их непрерывной борьбе, так что положение подчиненного класса становится все более осознанным и менее безнадежным.

6. Поршневу объясняет непрерывный конфликт между людьми, их желанием убежать друг от друга (для угнетенного класса — убежать от угнетателя) и отличить себя от других ради дифференцирующей идентификации. (Это негативное объяснение насилия выглядит в чем-то близким к теории Пьера Кластра, где насилие рассматривается как средство разделения слишком большой группы, так же как поршневу понимание труда как результата политического угнетения близко к полемике Кластра против Энгельса (Clastres 1989; 2010) — за тем исключением, что в теории государства Кластра отсутствует классовый аспект). Поршневу подчеркивает *разрыв* между людьми и животными — разрыв, который отражается и углубляется в человеческом языке. Человеческий язык *противоположен* языку животных: знак должен быть не похож на означаемый объект и не связан с ним материально. Это «анти-язык» (Поршневу 2007: 42). «Итак, человеческие языковые знаки в своей основе определяются как антагонисты тем, какие воспринимаются или подаются любим животным» (Поршневу 2007: 93). Это связано с их перевернутой функцией: блокировка, а не содействие реакции.

Согласно той же логике Поршневу утверждает, что первое начало человеческого — нечеловечная яростная гипнотизирующая сила (в наших теперешних понятиях явление монструозное). Чтобы прийти к этому заключению, ему необходимо методологическое правило выявления различий в прошлом: «Если история есть развитие, если развитие есть превращение противоположностей, то из животного возникло нечто противоположное тому, что развилось в ходе истории. Речь идет о том, чтобы реконструировать начало истории методом контраста с современностью и ее тенденциями» (Поршневу 1974: 40). Истинно исторический подход требует не опознания одной и той

же сущности в различных формах в далеком прошлом, но обнаружения сущностно противоположной субстанции даже в том, что может казаться сходным с нашим собственным временем. В эпистемологической части своего манускрипта Поршневу называет это «методом контраста» (Архив Поршнева: е.хр. 1, л. 48). Мишель Фуко (чью раннюю работу о безумии Поршневу знал и высоко ценил)⁵ утверждает буквально то же самое в своей «Археологии знания» (Фуко 2004: 37ff) и других методологических работах, призывая мыслить прошлое как отделенное *разрывом* от настоящего (правда, Фуко выступает против и диалектики, и марксизма и предпочитает язык *различия*, а не противоречия). «Переход от животного к человеку нельзя мыслить как борьбу двух начал. Должно мыслить еще это А [принцип, который постепенно убывает. — А. М.], отсутствующее как у животного, так и у человека: отрицание зоологического, все более в свою очередь отрицаемое человеком» (Поршневу 2007: 44).

В этом смысле существует жестокий, *монструозный*, исчезающий посредник истории, который потерян (хотя иногда возвращается) в повторяющихся актах ужасающей жестокости. Цивилизованный человек возможен лишь как отрицание отрицания, отрицание его собственной природной сущности. Человеческое против человеческого — этот аргумент опять напоминает Ницше, только с противоположной оценкой. Ницше (Ницше 1990) также видел возможности

⁵ Поршневу знал и ценил раннюю работу Фуко о безумии. Фуко, в свою очередь, знал и ценил раннюю работу Поршнева о французских народных движениях. В своем лекционном курсе 1972/73 уч. года в Коллеж де Франс Фуко часто опирается как на Поршнева, так и на Мунье в своей трактовке французского восстания босоногих в XVII веке (Foucault 2015a; 2015b). (В английском переводе пропущена большая часть сносок и интерпретирующее эссе Клода-Оливера Дорона, так что для соотнесения с Поршневым необходимо сверяться с французским изданием.) Это неудивительно, ведь Фуко интересуется именно вопрос об исторической непрерывности. Поршневу утверждает, что французское государство в XVII веке, в сущности, было еще феодальным; Мунье настаивает, что налоговая политика и продажа должностей были автономными потребностями государства, состоящего в союзе с буржуазией. Фуко использует их интерпретации для собственного утверждения о всеобщей гражданской (не классовой) войне, из которой выросло современное государство с его милитаризованным репрессивным аппаратом, который таким образом и был легитимизирован. Хотя Фуко настаивает на «разрыве» и соглашается с Поршневым по многим вопросам, например по поводу широкой коалиции восставших простолюдинов и структуры социальной реальности, напоминающей военную, нужно сказать, что парадоксальным образом, согласно методологическим принципам Фуко, Поршневу был более фукианцем, чем сам Фуко! Именно Поршневу настаивает на инаковости прошлого, тогда как Фуко сосредоточивается, вполне традиционно (и похоже на Мунье), на событийном возникновении современной политической формы, такой как государство.

того, что люди преодолеют себя и станут «сверхлюдьми», и описывал человеческую природу как нечто, разделенное между врожденным господством и врожденным рабством, но Ницше сожалел об утрате насильственного элемента «господства», тогда как Поршневу этому рад и видит позитивный потенциал в сопротивлении и освобождении рабов как одомашненных цивилизованных людей.

Возражая против теории, известной нам от Арнольда Гелена и других философских антропологов, которые считают, что человек определяется отсутствием инстинктов (Gehlen 1988; подробнее см. ниже), Поршневу считает, что настоящий вопрос, на который необходимо дать ответ, таков:

Что же разломало инстинкты, какой молот смял их при рассматриваемом сравнительно быстром переходе от палеоантропа к неоантропу? Тем новым регулятором, который снова и снова отменял, тормозил, аннигилировал веления наследственных инстинктов, была вторая сигнальная система — речевое взаимодействие людей (Поршневу 2007: 119).

Очевидно, реконструкция Поршнева изобилует догадками и иногда скатывается к мифу. Однако то же самое можно сказать о любой реконструкции начала (например, космологии Большого взрыва или психологии раннего детства). Преимущество его теории состоит в *историческом и событийном* понимании человечества. В то же время его повествование имманентно, поскольку оно отчетливо соединяет раннюю историю с тем, что так важно для нас сейчас: коммуникацией, информационной бомбой и всеприсутствием гипнотических, чарующих сил вокруг нас.

III. Обсуждение и актуальность

1. Обоснованность

Палеонтологические и антропологические идеи Поршнева, несмотря на их убедительный философский смысл, не во всем соответствуют современным исследованиям. Есть несколько определенных деталей, в которых он явно ошибался, например, он относил антропогенез к сравнительно недавнему периоду в сорок или пятьдесят тысяч лет, он был сторонником теории позднего разделения неандертальцев и людей (сегодня первые считаются боковой ветвью эволюции, генетически отделившейся примерно семьдесят тысяч лет назад) и т. п. Генетические данные показывают, что опознаваемый человеческий геном появился в Африке примерно двести тысяч лет назад (Cann, Stoneking and Wilson 1987), тогда как миграция

из Африки, с которой Поршневу связывал эволюционное разделение палеоантропов и неантропов, произошла примерно шестьдесят или пятьдесят тысяч лет назад (Forster and Matsumura 2005). Тем не менее ошибку Поршнева в сроках можно считать доказанной, только если мы согласимся идентифицировать вид с его генетическим постоянством, а не с его культурой, но вообще-то описанная им борьба между двумя группами гоминидов теоретически могла происходить без эволюционных органических изменений. Кроме того, некоторые недавние открытия, такие как широко обсуждаемое обнаружение «зеркальных нейронов» (Gallese etc. 1996), фактически подтверждают теорию Поршнева, которая основана на представлении о том, что пралюди спонтанно подражали пралингвистическим сигналам запрета. Поршневу в значительной мере полагаются на данные о подражательном поведении обезьян и людей, которые ему уже были известны (Поршневу 1974: 298–321), а «зеркальные нейроны» сейчас также рассматриваются некоторыми исследователями как средство распространения языка и его связи с поведением (Arbib 2005; Ричцоллатти и Синигалья 2012). Пока не совсем ясно, что нейробиологическое открытие «зеркальных нейронов» как средства подражания добавляет к старому, аристотелевскому знанию о человеческом миметическом поведении.

Однако нельзя утверждать, что Поршневу устарел, так как не знал ныне известных ответов на свои вопросы. В настоящее время проблема человеческого происхождения остается непроясненной. В ряде влиятельных исследований (Bickerton 1981; Byrne and Whiten 1988; Deacon 1997; Dunbar 1996; Knight 1998; Masataka 2007; Revonsuo 2000; Franklin and Ziphur 2005; Tomasello 1999, Томаселло 2011) формулируются различные гипотезы возникновения языка и мышления, которые носят столь же предположительный характер, что и работы Поршнева. Более того, эти исследования отчетливо отражают идеологические и философские предпосылки своих авторов. Хотя моя задача не в доказательстве того, что Поршневу фактически был «прав», я для иллюстрации приведу несколько современных теорий.

Многие из них сосредоточены на социальной природе языка и указывают на различие между гоминидами и высшими приматами, шимпанзе и бонобо, состоящее в том, что последние, хотя и являются общественными животными, остаются бессловесными и «эгоистичными». Произошло нечто, что позволило ранним людям действовать сообща. Порядок причинности неясен, но, скорее всего, язык и способность поддерживать общественные связи возникают вместе. Многие антропологи верят в архаический «общественный договор» (Deacon 1997: 407–408), наличие которого было необходимо для возникновения общественной солидарности. Терренс Дикон считает, что язык начался с ритуальных символов брака, которые

обусловили появление постоянных пар и создание полового разделения труда; Нобуо Масатака полагает, что ранний язык был музыкальной основой общественного единства; Дерек Бикертон настаивает, что ранний язык использовали собиратели-гоминиды, «вербуя» соплеменников для коллективного труда; Робин Данбар рассматривает язык, с его функцией «болтовни», как более сильную замену сплывающей обществу практике груминга (взаимного вычесывания). Крис Найт переворачивает порядок причинности и настаивает, что язык *требует* своего рода общественного договора, благодаря которому он становится возможным: в противном случае, учитывая императивный характер ранних символов (в этом Найт похож на Поршнева), у обезьян существует высокий риск быть обманутыми и стать объектом поведенческих манипуляций. Договор подразумевает солидарность среди тех, кто может влиять друг на друга посредством речи, но при этом не навязывает всеобщую честность, принимая как данность то, что любой язык *метафоричен* и потому отчасти обманчив.

В глаза бросается не только гипотетический характер, но и мифическо-идеологическая природа этих нарративов, необычайно похожих на либеральный политический миф, согласно которому: (1) изначально изолированные люди объединяются и в обязательном порядке составляют «общественный договор»; (2) эти люди устанавливают режим частичного подавления и собственных аморальных склонностей, таких как агрессия, ложь, эгоизм. Томас Гоббс и Бернард Мандевиль — величайшие представители этой теории.

Поршнев же, вышедший из левой советской традиции, прямо утверждает в заключении к своей книге:

Психическое развитие ребенка, утверждал наш мудрый психолог Л. С. Выготский, совершается не от индивидуального к социальному, а от социального к индивидуальному: он социален уже с первых слов. Это приложимо и к психическому преобразованию людей в истории: они социальны уже с ее начала, индивид же с его мышлением — продукт интериоризации, обособления от первичной общности в упорной войне с суггестией (Поршнев 2007: 477).

Обратите внимание на следующую деталь: как современные антропологи в США и Великобритании, так и Поршнев настаивают на важности человеческой социальности. Но Поршнев считает, что социальность *предшествует* индивидуации и поэтому не нуждается в объяснении через взаимную адаптацию индивидов. Более того, его социальность — это не тактичный договор солидарности и не аморальный, но симпатичный «макиавеллизм» Бирна и Уайтена

(Burne and Whiten 1988)⁶, но чудовищное, кроважидное угнетение одной группы другой, которое позже превратится в классовую борьбу. Современный субъект — продукт не похвальной солидарности или толерантности, а отрицательного разобщения, отделения угнетенных от их мучителей. Начало разума — не добрая воля сильных, но сопротивление *слабых*. Индивидуальность возникает во взаимодействии властных отношений в обществе. Как будто следуя знаменитому предписанию Бенъямина (в свою очередь возникшему под влиянием советской политики памяти), Поршневу отождествляет себя с *побежденными*, а не с победителями. Конечно, его нарратив при этом ближе к Фрейд, чем к современным либеральным антропологам. Фрейд также начинает с насильственного сообщества, но его вывод пессимистичен: новый человек — виновник прошлого преступления. У Поршнева он, напротив, является жертвой этого преступления, научившейся давать отпор, но еще слышащей отзвук железной дробы архаичных приказов в своих ушах и потому сохраняющей способность к свободной *воле*: синтезу сопротивления и приказа.

2. Значение

Как любой рассказ о начале, история Поршнева направлена на решение современных загадок. Отчасти эта актуальность просвечивает уже в «Социальной психологии и истории»: люди определяются через групповую идентичность и характерную манеру самоименования и находятся в непрерывной групповой борьбе. Эта борьба родственна природным элементам или взрывчатым веществам: Поршневу использует сильные образы «молотов», «бомб», «землетрясений» и для народных революций, и для лингвистического насилия ранних пралюдей, и для силы внутривидового разделения. Его теория закладывает основу для того, чтобы рассматривать историю как беспощадную классовую борьбу, и вместе с этим ставит трезвый диагноз человеческой истории, напоминающий Шмитта, приправленного гегельянской антропологией господина-раба. Эту мрачную, контргегемонную картину мира, чем-то близкую политическому реализму позднесоветских международников, нельзя саму по себе назвать особенно прорывной. Но Поршневу, как и его старший коллега Бахтин, добавляет *народническое* измерение. Его рассказ о классовой борьбе практически игнорирует пролетариат: он концентрирует

⁶ Обратите внимание на предлиберальное влияние Макиавелли на Гоббса и либеральную политическую теорию, даже если либеральное понимание первого основано на неверной интерпретации и упускает глубокую этику Макиавелли.

ется на крестьянах, с их «стихийной» борьбой, и обобщает эту борьбу, чтобы охарактеризовать человеческую сущность как постоянный бунт подчиненной группы.

Акцент на конце истории и на ее начале в господстве и подчинении близко подводит Поршнева к философии его бывшего соотечественника Александра Кожева, разработанной примерно в то же время. Как и Кожев, Поршнева философски отождествляет сущность человека с негативностью и выводит идею конца истории. Тем не менее освободительная концепция Поршнева и его склонность (в конечном счете) к утопическому оптимизму диаметрально противоположны либеральной и умеренно пессимистической интерпретации конца истории будущим европейским бюрократом Кожевным.

Еще одно важное направление мысли Поршнева, близкое к современности, как уже упоминалось — это размышление о гипнотической, сакральной роли языка, которое метко описывает положение современных людей в пронизанной медиа вселенной беспрецедентного лингвистического обстрела, которому они должны и могут научиться сопротивляться. Это приближает его к кругу идей французских учеников Кожева (Жорж Батай, Роже Кайуа), о которых он, возможно, не знал, и к русскому лингвистическому мистицизму Сергея Булгакова и Алексея Лосева, который он знал хорошо. В статье 1966 года, предвосхищающей аргументацию будущей книги, Поршнева цитирует своего старшего современника, Алексея Лосева, дополнившего платоновскую диалектику единого понятием имени:

Философом-идеалистом Лосевым в спекулятивной и мистической форме была разработана «философия имени», из которой, думается, может быть извлечено кое-что эмпирически ценное и рациональное. Расчлняя в слове как бы ряд логических слоев или оболочек, Лосев особое внимание уделил тому содержанию слова, которое он назвал «меоном»: в слове невидимо негативно подразумевается все то, что не входит в его собственное значение. Это как бы окружающая его гигантская сфера всех отрицаемых им иных слов, иных имен, иных смыслов. Если перевести эту абстракцию на язык опыта, можно сказать, что слово в самом деле выступает как сигнал торможения всех других действий и представлений кроме одного-единственного (Поршнева 1966: 33).

Отсылка к книге «Философия имени» (Лосев 1994 [1927]) русского неоплатоника Алексея Лосева, вышедшей в 1927 году, далеко не случайна. Поршнева ссылается на нее в черновиках своей книги еще в 1939–1941 годах (Архив Поршнева: е.хр. 6, л. 66–67). Лосев считал, что язык — который начинается с *имени* — это завершение *идеи*

в среде ее Другого — *меона*, платонической «инаковости». Язык возник из необходимости учитывать этот негативный аспект идеи, и потому для Лосева важно, что материал языка, его звучание, никак не связан с содержащимся в нем значением. «Тормозная доминанта» Поршнева основана на той же мысли: человеческий язык совершенно не похож на свое означаемое, благодаря чему он может *отрицать* и только после этого обозначать и идеализировать.

Теоретически нам важно выделить: (1) то, как Поршнева понимает и применяет диалектику в конкретном эмпирическом/историческом исследовании, и (2) место его теории в дискуссии XX века о сущности человека, вновь актуальной в связи с постгуманистическими ожиданиями (Haraway 1991; Braidotti 2013).

1) Негативная диалектика

Ортодоксальные советские «законы диалектики» отбрасывали негативность. Но в неортодоксальной советской диалектике Лосева, Выготского, Бахтина и Ильенкова она играла ключевую роль. Лосев, реконструирует диалектическую систему неоплатоников, описывает материальный мир как «меон», небытие, результат отрицания, при этом он далек от того, чтобы этот мир исключать. Как упоминалось, Лосев указывает на роль «меона» для значения лексических единиц, особенно для значения имен. Выготский в своей выдающейся книге «Мышление и речь» (Выготский 1999 [1934]) указывает на антагонистические и взаиморазрушительные отношения между способностями думать и говорить. Мысль разрушает речь и делает ее путаной, но впоследствии приходит к своему завершению в синтезе *речевого мышления*. Ранний Ильенков в «Космологии духа» (Ильенков 1991) считает, что предназначение человека состоит в разрушении Вселенной. Бахтин, который ближе всего к Поршневу, основывается на взаимодействии простого отрицания и *инверсии*. Он и его ученик Валентин Волошинов (Волошинов 1927) описывают психоанализ как идеологический проект, который открывает сексуальность как идеологическую изнанку господствующей буржуазной культуры. Позже Бахтин (Бахтин 1965) анализирует народную культуру, которую считает носителем высокой художественной культуры, как «антимир» официальной идеологии, полемически направленный против нее. Однако здесь не возникает синтеза, если таковым не считать сам роман Рабле, который интериоризирует карнавальную «антимир» и делает его приемлемым для высшего класса.

Именно в этом контексте, хотя и относительно независимо от него, развивается мысль Поршнева. Его теория также подчеркивает негативность как силу: то, что могло бы показаться нам простым недостатком, всегда следует из активного отрицания, которое не явля-

ется независимой силой, но полемически взаимодействует с тем, что отрицает, тем самым формируя *инверсию*. Это перетолкование негативного из простой ничтожности в противоположное (из *nihil negativum* (негативное ничто) в *nihil privativum* (ничто лишенности) или *contrarium* (противоположность)), на мой взгляд, является ядром современной диалектики от Канта до Гегеля, Маркса и Фрейда (Магун 2008).

Человек — существо «негативное», несовершенно, слабое из-за непрерывной борьбы, в которую он вовлечен против собственной природы и в силу негативной работы своих чудовищных прародителей, которые одомашнили людей и затем пали жертвой их организованного сопротивления. Человечность антиприродна. Человеческий язык изначально является антиязыком (в противоположность аналогичному/миметическому языку природы), но затем он развивается и преодолевает свой исключительно негативный характер в полном соответствии с гегелевской логикой отрицания отрицания. С политической точки зрения люди — это революционеры, которые борются против человечности, если под человечностью мы понимаем изначальную чудовищность лингвистического господства и порабощения соплеменников.

Социальное нельзя свести к биологическому. Социальное не из чего вывести, как из биологического. В книге я предлагаю решение этой антиномии. Оно основано на идее инверсии. Последняя кратко может быть выражена так: некое качество (A/B) преобразуется в ходе развития в свою противоположность (B/A) — здесь все не ново, но все ново. Однако надлежит представить себе не одну, а две инверсии, следующие одна за другой [...] Последовательный историзм ведет к выводу, что в начале истории все в человеческой природе было наоборот, чем сейчас (если отвлечься от того, что и сейчас мы влачим немало наследства древности): ход истории представлял собой перевертывание исходного состояния. А этому последнему предшествовала и к нему привела другая инверсия: «перевертывание» животной природы в такую, с какой люди начинали историю (Поршнева 2007: 13–14).

В своей неопубликованной работе Поршнева еще сильнее подчеркивает значение негативности и формулирует ее всемирно-историческое и этическое значение, которое прямо соотносится с его упомянутой ранее теорией конца истории. В рукописи своего главного труда «Критика человеческой истории» он пишет: «Мы утверждаем, поддерживаем и приветствуем эту борьбу до той степени и с того момента, пока она подчиняется главной цели, постепенному движению вперед, к полному уничтожению социальной жизни» (Архив Поршнева: е.хр. 17, л. 38).

Конец истории как цель диктует однозначно отрицательное понимание человеческой миссии и высшего блага, или счастья, определяемого как подлинно отрицательная свобода.

Отрицание может быть разом и полным, и свободным, это дух истории, о котором догадывались анархисты [...]

Процесс разрушения, ликвидации истории — вот счастье, высшее счастье, к которому человечество стремилось в последние тысячелетия и особенно в последние века. Недовольство существующим порядком вещей, которое растет безудержно, как лавина, всепобедающая в своей разрушительной силе — это и есть счастье. Это самое долгожданное, и более того, самое всечеловеческое счастье (Архив Поршнева: е.хр. 17, л. 39–40).

Таким образом, негативная диалектика XX века существовала не только во Франкфуртской школе, но также и в советском марксизме. Однако последний подчеркивает насильственную революционную инверсию, тогда как первая по большей части понимает отрицание как неопределенную открытость. Тем не менее, если проанализировать раннего Адорно и его понимание человеческого субъекта, восстанавливающего архаический смысл миметического господства через антимиметическую абстрактную рациональность, то можно увидеть, что его понимание отрицания отрицания не лишено сходства с мыслью Поршнева. Однако последний видит шанс освобождения от рабства там, где первый может усмотреть только возвращение архаического господина.

В некотором смысле Поршнева ближе к психоаналитической диалектике Фрейда и Лакана, но психологический фокус как Фрейда, так и Лакана, как правило, мешает им мыслить исторически и понимать социально-политический вектор насилия («влечения к смерти») и внешне обусловленную природу угнетения и отчуждения. Тем не менее теоретический миф Фрейда об истории как непрерывности чувства вины наших предков за бунт против отца, которого они съели (Фрейд 2009), и, как следствие, наложение сыновнего насилия над насилием съеденного ими отца в нашей культуре отдаленно напоминает Поршнева, хотя Фрейд рассматривает это насилие с консервативной и чуть ли не клерикальной, идеологической точки зрения и выдвигает намного меньше объективных исторических аргументов.

Диалектический тезис о том, что в генезисе смысла отрицание часто предшествует полаганию, чрезвычайно важен. Я использовал его в своей работе о революции, показав, что самоподавление усилия к освобождению исходит от насилия, с которым реагирует революция, отрицая все, связанное со Старым порядком (Магун 2008). Но теория Поршнева еще более актуальна в применении к эстетике.

2) Негативная эстетика

Теория Поршнева описывает язык в его ранних чарующих функциях, но она также сосредоточена на механизмах подрыва смысла, которые сегодня известны нам из сферы эстетики. Так, Александр Козинцев указывает на значимость поршневской теории запрещенного, «перемещенного» действия для понимания *колического* элемента в искусстве (Kozintsev 2010: 110).

Поршнев понимает язык как отрицание отрицания. Негативность — это ключевая характеристика искусства, в особенности модернистского искусства, например Целана или Беккета, которое сознательно стремится уничтожить или подорвать язык средствами самого искусства. Пауль Целан даже назвал свое стихотворение “Genicht” (Celan 1986: 31; ср. Weller 2016).

Поршнев в своем труде «О начале человеческой истории» (Поршнев 2007) сам кратко излагает эстетическую теорию, подчеркивая негативность в искусстве. Объясняя раннюю пещерную живопись, он пишет:

Эти древнейшие изображения могут быть рассмотрены в аспекте обхода или возмещения запрета прикасаться. Присмотревшись к изображаемым объектам, мы убедимся, что все они подходят под один общий смысл: «То, чего в природе нельзя (или то, что невозможно) трогать». Это женские статуэтки, изображающие неприкосновенную мать... красная и желтая охра, изображающая огонь, к которому невозможно прикосновение, а также изображающая кровь, т. е. Жизнь человека; зубы хищников, преимущественно клыки, изображающие пасть животного, прикосновение которой невозможно; морские раковины, находимые на огромных расстояниях от морского побережья и изображающие недоступное для данной популяции море; тот же смысл изображения недоступного, вероятно, имеют и рисунки хижин, как и пасущихся или отдыхающих диких крупных животных. Все это как бы разнообразные транскрипции одной и той же категории «нельзя», «невозможно», однако преобразованной в «а все-таки трогаем». Кстати, и игрушки наших детей — это преимущественно изображения того, что им в природе запрещено трогать, к чему они не имеют свободного доступа в окружающей их жизни взрослых. Кажется, что игрушки просто «изображают» разные предметы, на самом деле они и выражают категорию запрета, которым отгорожена жизнь детей от мира взрослых. Само создание палеолитических изображений было троганьем образов, или образами, порожденными троганьем... Наиболее примитивные, может быть наиболее ранние, представляют собой различные линии, следы проведения пальцем по глине... За первичность троганья, т. е. «раскрепощения» в темноте пещеры от запрета трогать посредством искусственного исключения из правила, гово-

рит, может быть, чрезвычайная древность специальных отпечатков рук на стенах пещер... Для получения отпечатков кисть руки либо обмазывалась краской и прикладывалась, либо прикладывалась и обводилась краской (Поршневу 2007: 463).

Таким образом, искусство не является сферой нейтрализованного смысла, но, скорее, преодолевает лингвистическую отрицательность изнутри. Это осторожная проба запретного плода, нарушение табу и в то же время его *выражение*. Красота — это то, что касается запретного (Поршневу считает, что на первых картинах изображены мятежные образы угнетенной группы, которой было отказано в доступе к изображенным животным). В этом учении очевидны следы кантовского «возвышенного». Но, как подчеркивает Поршневу, возвышенное относится к объектам, а не к знакам и не к субъекту. Он отмечает это в разделе, где рассматривается появление объективной референции в языке, который до этого был чисто прагматическим.

То, что Поршневу здесь описывает, хорошо сочетается с древней и богатой традицией искусства как изображения и преодоления табу (например, мотив “Noli me Tangere” («Не прикасайся ко мне») в живописи от Фра Анджелико до Пикассо), кульминацией которой является предмодернистская и модернистская литература. К этому, вероятно, не случайно весьма близко творчество Осипа Мандельштама, в особенности его «Ласточка» (которую также цитирует Выготский как эпиграф к одной из глав в книге «Мышление и речь»):

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья!
Я так боюсь рыданья Аонид,
Тумана, звона и зиянья.
А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется,
Но я забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется
(Мандельштам 2009: 1, 109).

Примечательно, что эстетическая теория Поршнева претерпела диалектическое развитие. Ранний проект эстетического применения его общей теории содержится в «Дневнике ученого» 1951–1952 годов (Архив Поршнева: е.хр. 17, л. 19–21), где он предлагает несколько другую версию негативной эстетики. Здесь *прекрасное* понимается как контробраз, как сама деятельность торможения, которая использует часть спонтанной образной деятельности в качестве противоядия, противоположенного остальной подобной деятельности.

«Прекрасное — ограничение безобразного, то малое, что остается от запрета и подавления безобразного: потому что безобразное не

может быть запрещено или подавлено каким-либо способом, кроме как через противопоставление ему строго определенной части самого себя» (Архив Поршнева: е.хр. 17, л. 20.2). Очевидно, что в период между написанием дневника и книги понимание Поршнева преобразовалось и стало ближе к левому уклону его теории: прекрасное — уже не символическое подавление воображаемого, но, скорее, нелегитимный бунт против этого подавления.

Сегодня в русской культуре влияние Поршнева наиболее заметно как раз в области эстетического, например в текстах Виктора Пелевина. В рассказе «Зенитные кодексы Аль-Эфесби» (Пелевин 2011) Пелевин описывает российского IT-специалиста, изобретающего способ сбить американские беспилотники: на земле крупными буквами пишется фраза, которая должна прямо противоречить всему, на чем основана американская идеология, например: “greenspan bernanke jewish (rothschild | federal reserve | builderberg group | world government)” (Пелевин 2011: 181). Здесь, как и в других текстах Пелевина, ключевой является идея *антиформулы*, которая разрушает определенный виртуальный мир. Пелевин хорошо знает творчество Поршнева, что необычно даже для позднесоветских времен; Поршнева известен в академических кругах, но неизвестен широкой публике. Тем не менее в начале упомянутого рассказа Пелевин ссылается на него без указания имени.

Мои предки были волосатыми низколобыми трупоедами, которые продалбливали черепа и кости гниющей по берегам рек падали, чтобы высосать разлагающийся мозг. Они делали это миллионы лет, пользуясь одинаковыми кремниевыми рубилами, без малейшего понимания, почему и зачем с ними происходит такое — просто по велению инстинкта, примерно как птицы выют гнезда, а бобры строят плотины. Они не брезговали есть и друг друга.

Потом в них вселился сошедший на Землю демон ума и научил их магии слов. Стадо обезьян стало человечеством и начало свое головокружительное восхождение по лестнице языка. И вот я стою на гребне истории и вижу, что пройдена ее высшая точка.

Я родился уже после того, как последняя битва за душу человечества была проиграна. Но я слышал ее эхо и видел ее прощальные зарницы. Я листал пыльные советские учебники, возвещавшие, что Советский Союз сделал человека свободным и позволил ему шагнуть в космос. Конечно, даже в детстве мне было понятно, что это вранье — но в нем присутствовала и правда, которую было так же трудно отделить от лжи, как раковые метастазы от здоровой плоти (Пелевин 2011: 224).⁷

⁷ Ссылка на теорию Поршнева, а именно ее краткое обобщение, снова появляется в романе Пелевина 2016 года «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»: «Книга утверждала, что люди стали людьми, научившись

Очевидно, что Пелевин видит в Поршневе ключ к собственной литературной задаче: демистификация, которая требует не только простого литературного скептицизма, но создания контрмиров, *антимиров*. Обратите внимание на то, как Пелевин пронизательно связывает поршневскую теорию о начале с эсхатологией: он догадывается об этом, хотя, скорее всего, не читал рукописей Поршнева о конце истории.

В другом рассказе из того же сборника «Операция “Burning Bush”» [Горящий куст]» (Пелевин 2011: 7–144) ФСБ говорит с Джорджем Бушем из его зуба голосом поддельного бога. Этот «Бог» на самом деле — русский еврей, который принимает сильные наркотики и затем вынужден слушать мистическую теологическую литературу. По его описанию, под влиянием наркотиков слова «действовали совсем иначе, чем обычная человеческая речь. Они как бы прорезали мое сознание насквозь, полностью заполняя его своим значением, и становились единственной и окончательной реальностью на то время, пока звучали» (Пелевин 2011: 46), «я становился добычей любого достигавшего меня шепота» (Пелевин 2011: 47), в то время как авторы «и представить не могли, что их слова принудительно трансформируются в психическую реальность в мозгу подвешенного в черной вечности человека, полностью лишённого обычного иммунитета к чужой речи» (Пелевин 2011: 47). Джордж Буш, с которым этот новообращенный «мистик» говорит через его зуб, испытывает тот же эффект прямого проникновения слов, и таким образом ФСБ убеждает его начать войну в Ираке и совершить другие катастрофические действия. Фраза про «обычный иммунитет к чужой речи» у Пелевина — скрытая ссылка на Поршнева. В отличие от того, что говорит сам Поршнев об искусстве, Пелевин, вероятно, видит в нем опору для противостояния чарующей власти языка, «контрвнушение». Это не просто слепой подрыв смысла с помощью юмора, но целенаправленная инверсия лингвистических и идеологических кодов с целью защиты и вооружения субъекта.

Можно сделать вывод, что языковая негативность функционирует неоднозначно — как преднамеренный переворот авторитарной речи, который подрывает ее посредством разыгрывания вытесненного ею бессознательного, и как доступ к тому подлинному явлению, которое было запрещено этой речью. Согласно Поршневу искусство — это диалектическое напряжение между сопротивлением (языку) и достижением (запретного объекта). В первую очередь

околдовывать друг друга непобедимой силой первых слов» (Пелевин 2016: 115). Этот роман, как и многие другие, рассказывает о борьбе между двумя командами могущественных гипнотизеров. Один из объектов борьбы — так называемая «хуцпа», устройство Федеральной резервной системы, которое поддерживает веру в доллар.

искусство функционирует как констрязык и контробраз в стиле Целана или (*mutatis mutandis*) Пелевина. Таков поэтический слой искусства до образа. Затем, на уровне референций, изначально травматичные слова становятся печатями, запрещающими доступ к тому, что они называют. Искусство мужественно парирует и выворачивает наизнанку сильные слова «авторитетного языка» и одновременно осторожно освобождает то, к чему отсылают эти слова, от самих этих слов. Оно спасает «вещи, платье, мебель, жену и страх войны» (Шкловский 1925: 16) от плоских лингвистических формул, которые скрывают их, и позволяет нам «коснуться камней», давая им странные имена архиязыка и смотря на них будто впервые.

3) Философская антропология

Теоретический миф Поршнева о происхождении человека, адресованный непосредственно палеонтологам и эволюционистам, на деле оппонирует истории европейской философской антропологии. Проблема человека (или бытия человеком) — это вопрос эмпирической или экзистенциальной привязки знания как такового. Подлинно антропологическая теория должна каким-то образом сочетать *имманентный* («корреляционистский») анализ мира как объекта нашего возможного действия (как возможен мир, почему, логически говоря, наши привычки и институты необходимы и справедливы) и *онтологический* анализ того, что производит или ограничивает этот мир (последний, без предшествующего имманентного анализа, рискует впасть в догматизм: модный сейчас «спекулятивный реализм» подвержен этой опасности). Назовем подобную комбинированную теорию, которая выявляет конечность нашей неизбежной сферы значений в контексте более широкого децентрализованного единства, *рефлексивным эгоцентризмом*. Такая теория может принимать различные формы: теория вселенной, теория жизни, теория человечества или западного просвещения, теория модерна и, в конце концов, теория *эго*. В каждом случае происходит дальнейшее разделение на мифическое и логическое описания.

Архаический миф превратил вопрос о смысле в вопрос о *начале* и разрешил его в рассказе о возникновении и/или героическом прорыве сознания из тьмы. *Логический* путь со своей стороны выводит сознание либо из чего-то абсолютного (как в онтологическом доказательстве бытия Бога Ансельма Кентерберийского), либо из некоторого непостоянства, присущего самому понятию бытия (как у Гегеля).

Нам нужно что-то среднее, а именно теория событийного начала, которая оставалась бы имманентной и таким образом сохраняла бы место для осмысленного действия и логического понимания. Как в знаменитой метатеории истории Бадью (Badiou 1988): только лишь

событие, тектонический сдвиг в ситуации может обосновать субъективность в онтологическом горизонте и в то же время оставить ей возможность действия, объясняя *движение*, а не покой.

Отсюда следует важность *антропологии* как одной из версий этого рефлексивного эгоцентризма и вопроса о сущности человека. Чтобы поставить этот вопрос философским, а не мифическим или логическим образом, необходимо объединить три его части. *Что означало бы наше сознание/свободное действие с точки зрения нечеловеческой жизни?* И наоборот: *что означает быть обезьяной с точки зрения свободы и истины?* Наконец, что было *событием возникновения человеческого из чистой животности?* Если подобное событие начала мыслимо, то оно должно иметь имманентный смысл и в какой-то мере длиться и сегодня, так чтобы человек был тем, что возникло и *продолжает возникать*. В противном случае подобное событие могло бы иметь лишь архивную ценность и не могло бы конституировать сущность. Мы отмечаем сходство, но также и превосходство этого вопроса над «спекулятивным» вопросом об «окаменелостях» (Мейясу 2015): в палеонтологии Поршнева, исследуя скелеты ранних людей, мы ищем *наши собственные окаменелые останки* и сами являемся останками для самих себя. Это могло бы послужить фундаментом для рационального, имманентного и феноменологически обоснованного понимания «мира без нас» в противоположность призыву Мейясу исключить непосредственный опыт как основание знания.

В XX веке был почти достигнут консенсус в отношении направления поиска начала человека. И этим направлением была под разными названиями *негативность*. В отличие от прежних попыток сакрализовать людей и установить их врожденное отношение к абсолюту, здесь, напротив, человеческое было представлено как *недостаточное* по отношению к животности. Интересное решение проблемы имманентного и трансцендентного: роль природы в рождении сознания состоит лишь в том, что она *отступает*. Свобода действий тем самым доказана, а солипсизм исключен. Событие возникновения, если оно становится предметом подобных теорий, является в некотором смысле катастрофой — отрицательной революцией природы. Сущность людей удачно обобщается как чистая недетерминированность и «открытость»: сущность состоит в том, чтобы не иметь никакой сущности. В этом случае отрицание неясно понимается как *nihil negativum* — чистое неопределенное отсутствие.

Однако цена этого решения — опасность нигилизма, в его двойном облики оппортунизма и меланхолии. Как этого избежать и каковы наиболее интересные попытки реконструкции начала человечества, я разберу в дальнейшем.

Блестящее решение, на которое я указывал выше, впервые предложил Жан-Жак Руссо. Он считал, что человек — это слабое и хрупкое животное, чье *видовое отличие* состоит в способности к совершен-

ствование: бесконечная пластичность, заставляющая его/ее развивать технологию, но также и отказываться от собственной свободы (Руссо 1998: 55–56). Здесь интересна сама идея об утерянном начале, или, точнее, качестве, заставляющем людей непрерывно терять свое начало. Именно для того чтобы заменить это начало, по Руссо, мы нуждаемся во всемогущем республиканском государстве. Поршневу соглашается со слабостью первых людей и с тем, что современный человек совсем не похож на своего предка (даже противоположен ему), но задает диалектический вопрос: по сравнению с кем человек был слаб, *кто* сделал его/ее слабым и *кто* был заинтересован в этом настолько, что это слабое существо выжило.

В XX веке немецкие философские антропологи, и прежде всего, Арнольд Гелен, следовали за Руссо. Согласно Гелену (Gehlen 1988), люди рождаются преждевременно и поэтому лишены инстинктов. Это дает им безграничную творческую способность, но также и сенсорную перегруженность восприятия, поскольку они реагируют на все стимулы, а не только на те, которые запускают рефлекс. Но люди способны к целенаправленному действию, что позволяет им отбирать чувственные данные.

По Гелену, проблема избытка данных остается нерешенной и люди со временем развивают способность *разгружать* свое переполненное восприятие, отвлекая свое внимание от обыденных деталей собственной деятельности и внешнего мира. Речь, по Гелену, это инструмент подобной саморазгрузки. (Гелен не был знаком с работой Ухтомского о «доминанте», но сделал похожее наблюдение; для Поршнева, как и для Гелена, избыток стимулов является человеческой проблемой, и для него похожим образом язык возникает из уже успешной стратегии блокировки этого избытка через «тормозную доминанту». Язык изначально является частью фильтра избыточно-го восприятия.)

Но вывод Гелена консервативен: именно потребность в сильных социальных институтах до некоторой степени ограничивает негативную свободу людей. Любая недостаточность этих институтов логически ведет к *меланхолии* как отражению негативности человеческого положения. В отличие от Поршнева, Гелен понимает негативность абстрактным неопределенным способом, а не как *силу*, и он тем более далек от того, чтобы считать этой силой язык.

В чем-то с Геленом схож ранний Хайдеггер, который, хотя и отвергал антропологию как цель, а биологию как основание, тем не менее похожим образом определял человека (Хайдеггер 2002, 2013). Человек бесконечно открыт не в силу своей биологической недостаточности, но в силу необычной заботы о конечной ситуации (о «мире»), как бы проистекающей из отпадения от благодати. Изнанка этой открытости — интуиция «ничто», которая является не человеческим состоянием, но истиной самого бытия. Это вызывает

ужас (*Angst*), но также и способность решительного ответственного действия.

Во второй половине XX века пути биологии и философии в континентальной Европе по большей части разделились, в то время как фокус антропологических теорий переключился на язык в его структуралистском понимании: язык как система. Только сейчас наступило время возобновления интереса к началу человеческого, например у нас есть недавние труды Паоло Вирно, прежде всего его «Эссе об отрицании» (Virno 2013). Вирно переворачивает здесь аргументы Гелена и Руссо. Согласно Вирно, биологическая сущность человека — это не недостаток или лишенность, но способность к деятельному отрицанию, укорененная в языке. Человеческий язык, в отличие от животного, обладает этой особой силой *аннулирования* сказанного или даже испытанного в чувстве. Это позволяет человеку стать менее чувствительным к поведению других существ и менее подражающим, чем другие животные. Вирно дает, по-видимому, материалистическую отсылку к «зеркальным нейронам», клеткам головного мозга, предположительно ответственным за спонтанную имитацию и эмпатию (Virno 2013: 5–6, ссылается на своих соотечественников Галлеза и Риццолатти [Gallese et al. 1996]). Благодаря языку люди умеют блокировать действие этих нейронов. Отсюда возникает сложная диалектическая структура человеческого отношения к другим: люди имеют индивидуальную свободу, но способны к жестокости по отношению к соплеменникам, к внутривидовой борьбе и, следовательно, к абсолютному злу. В то же время они были вынуждены создать также с помощью языка ряд контрмер против этой опасности: язык заново социализирует людей, создавая сферу искусственного подражания — публичную сферу, образованную обыденными выражениями языка. Государство делает то же самое, но грубее, в то время как публичная сфера — это органический языковой способ реакции на негативность в ее собственной среде: отрицание отрицания. Отсылки к современности в этой теории очевидны: сегодняшнее информационное общество стремится к постоянному подражанию, потому благословенна способность, позволяющая людям отрицать и отвергать давление сородичей, но именно в силу этой способности, если ее не контролировать, люди могут совершать ужасные преступления, такие как Холокост. Поэтому мы нуждаемся в коммунитарной публичности в противовес нейтральной монструозности капитала и государства и в риторике в противовес бюрократической рациональности. Заметим, что под отрицанием Вирно имеет в виду неопределенное отрицание, он это подчеркивает: не-Х, которое упоминает Х и нейтрализует его, отсылая ко всему бесконечному и неопределенному в универсуме за пределами Х.

Как бы эта теория ни была оригинальна и какие бы хорошие основания ни имел Вирно для возврата от объективистской негатив-

ной антропологии к активному гегелевскому «нет» как месту начала, она несет в себе некоторые проблемы. Во-первых, как и с Геленом, и в отличие от Руссо, показанная картина совершенно аисторична. Человек возникает сразу, как Афина, полностью вооруженным (или, скорее, разоруженным) и представляет собой вечную проблему совмещения социализации с индивидуацией. Это связано с пониманием отрицания как чистого *nihil negativum*: как таковое оно не обладает достаточной реальной силой для уничтожения того, что оно отрицает, или для того, чтобы подчинить нечто новому порядку (у Поршнева, как мы помним, отрицание — это антагонист, противоположность). Во-вторых, существует асимметрия между укорененной в материи, овеществленной, эмпатией («зеркальными нейронами») и волевым, нематериальным отрицанием в языке. Это противоречит нашему антропологическому требованию *имманентности* начала и превращает социальность в догму. (Поршнева, хотя и пишет о первичной социальности человека, на самом деле сразу подает эту социальность как конфликтную и насильственную.) И в-третьих, существует деликатная, но важная проблема приоритета: Вирно явно не знает о книге, опубликованной Поршневым в 1974 году по-русски, где высказывался весьма похожий тезис, но более обоснованный с точки зрения нейрофизиологии (пусть нейрофизиология «доминант» сейчас устарела, но теория «зеркальных нейронов» не кажется адекватной заменой).

Поршнева, как и Вирно, считает, что сущностью языка является «нет», и он также рассматривает зрелую форму этого «нет» как защиту против подражания. Размышления Вирно о современной публичной сфере тоже могут иметь неявный аналог в теории Поршнева (почему контрвнушение становится столь актуальным сегодня?). Чего недостает Вирно, так это представления о другой стороне конфликта и в истории, и в современности: *кто* стремится к подражанию, против *кого* мы защищаем себя? Поршнева, пусть почти впадая в миф, ставит эти вопросы и указывает на двойственную, разделенную человеческую природу, рассматривая сопротивление как политическую силу. Вирно не задает их, оставаясь скорее в сфере онтологии, чем на территории мифа, но игнорирует аспект классовой борьбы в публичной сфере и насильственную природу негативности как инверсии в противоположность.

IV. Заключение

Поршнева был одним из самых ярких представителей советского марксизма и одним из наиболее обделенных вниманием, несмотря на свою раннюю известность в качестве историка классовых войн. Кто знает, что бы стало, если бы его книга о начале человеческого

языка была доступна на Западе в 1974 году, во время расцвета философий языка (Деррида, Делез, с одной стороны, и Фуко, Остин, Серл — с другой) и вскоре после создания философских антропологий Жирара или Кластра. Кто знает, что могло бы случиться сейчас, когда эти традиции запоздало открывают для себя физиологию, но находят ее в «нейробиологии», игнорируя и отклоняя большую часть работ старой советской психофизиологической школы, которая была близка к философии, но пыталась избежать нейроредукционизма и настаивала как на целостности и телеологии человеческой деятельности, так и на роли опосредования любой материальной детерминации. Уйдем однако от противоречащих реальности гипотез; сейчас мы вновь открываем книги Поршнева и решаем, осталось ли в них что-то актуальное. В этой статье я попытаюсь дать обзор идей, которые до сих пор не утратили своей значимости:

— Существенная роль негативности как активной силы в истории.

— Изначально негативная природа языка, которая в наших развитых языках трансформировалась в многослойную диалектику гипнотического и контргипнотического насилия.

— Сущностно разделенная природа человеческого вида и последующая ценность коллективной субъективизации.

— Политическая природа экономики, движимой трудом, который понимается как функция господства.

— Языковое происхождение и природа любой политики и господства.

— Строгая методология использования диалектического метода в историческом (или метаисторическом) исследовании.

— Логически непротиворечивая негативная диалектика, истocom которой является инверсия, а не различие (как у Адорно).

— Эсхатологическое представление о том, что человеческий вид постепенно преодолевает себя, превосходя как собственную прирученность, так и изначальную дикость, и в конце истории вновь становится органической частью природы.

Мрачная картина, нарисованная Поршневым, дает тем не менее телеологический горизонт для человечества, которое постепенно вливается в единое «мы» и таким образом только сейчас становится действительно животным видом. Но она также предостерегает от недооценки языка как политического средства, что происходит в утопиях «рациональной дискуссии» и в моделях инструментального рационального поведения: каждый, кто становится объектом насилия приказов и имен, может выстроить разумный логический дискурс только в качестве реактивной стратегии, состоящей в относительном ослаблении голоса другого.

Перевод с английского Марии Варламовой

Библиография

- Архив Поршнева. *Российская государственная библиотека (РГБ). Фонд рукописей.* Ф. 684. К. 17.
- Бахтин, Михаил (1965). *Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса.* М.: Художественная литература.
- Богданов, Константин (2015). *Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры.* М.: Новое литературное обозрение.
- Вите, Олег (2007). «Книга “О начале человеческой истории” и ее место в биографии Б. Ф. Поршнева». В кн.: Поршнева, Борис, *О начале человеческой истории.* М.: Алетейя.
- Волошинов, Валентин (1927). *Фрейдизм. Критический очерк.* М.; Л.: Государственное издательство.
- Выготский, Лев (1983). «История развития высших психических функций». В кн.: Выготский, Лев. *Собрание сочинений*, в 6 тт., т. 3. М.: Педагогика.
- Выготский, Лев (1999). *Мышление и речь* [1934]. М.: Лабиринт.
- Ильенков, Эвальд (1991). «Космология духа». В кн.: Ильенков, Эвальд, *Философия и культура.* М.: Издательство политической литературы.
- Кондратьева, Тамара (2012). «Б.Ф. Поршнева читает Бакунина». *Вестник Тюменского университета. Серия «История и филология»* 2: 210–214.
- Лосев, Алексей (1994). *Философия имени* [1927]. М.: Мысль.
- Люксембург, Роза (1934). *Накопление капитала* [1913]. М.; Л.: СОЦЭКГИЗ.
- Магун, Артемий (2008). *Отрицательная революция: к деконструкции политического субъекта.* СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.
- Мандельштам, Осип (2009). *Полное собрание сочинений и писем*, в 3 тт. М.: Прогресс-плектра.
- Мейясу, Квентин (2015). *После конечности. Эссе о необходимости и контингентности.* Екатеринбург: Кабинетный ученый.
- Ницше, Фридрих (1990). «К генеалогии морали». В кн.: Ницше, Фридрих, *Сочинения*, в 2 тт., т. 2. М.: Мысль.
- Пелевин, Виктор (2011). *Ананасная вода для прекрасной дамы.* М.: ЭКСМО.
- Пелевин, Виктор (2016). *Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами.* М.: ЭКСМО.
- Поршнева, Борис (1948). *Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623–1648).* М.: Издательство Академии наук СССР.
- Поршнева, Борис (1963). *Современное состояние вопроса о реликтовых гомоидах.* М.: ВИНТИ.
- Поршнева, Борис (1964). *Феодализм и народные массы.* М.: Наука.
- Поршнева, Борис (1966). «Генетическая природа сознания (интердиктивная функция речи)». В кн.: *Проблемы сознания. Материалы симпозиума*, под ред. В. М. Банщикова. М.: Б. и.
- Поршнева, Борис (1974). *О начале человеческой истории.* М.: Мысль.
- Поршнева, Борис (1978). *Социальная психология и история* [1966]. М.: Наука.

- Поршнев, Борис (2007). *О начале человеческой истории*. М.: Алетейя.
- Поршнев, Борис (2012). «Загадка снежного человека». В кн.: Поршнев, Борис, *Современное состояние вопроса о реликтовых гоминидах*. М.: ЭКСМО.
- Риццолатти, Джакомо и Коррадо Синигалья (2012). *Зеркала в мозге. О механизмах совместного действия и сопереживания*. М.: Языки славянских культур.
- Руссо, Жан-Жак (1998). «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми». В кн.: Руссо, Жан-Жак, *Об Общественном договоре. Трактаты*. М.: Канон-Пресс.
- Сталин, Иосиф (1935). «Речь на совещании передовых колхозников и колхозниц Таджикистана и Туркменистана с руководителями партии и правительства». *Правда*, 4 дек.
- Томаселло, Майкл (2011). *Истоки человеческого общения*. М.: Языки славянских культур.
- Ухтомский, Алексей. (2002). *Доминанта*. СПб.: Питер.
- Фрейд, Зигмунд (2009). *Тотем и Табу*. Харьков: Фолио.
- Фуко, Мишель (2004). *Археология знания*. СПб.: Гуманитарная академия.
- Хайдеггер, Мартин (2002). *Бытие и время*. СПб.: Наука.
- Хайдеггер, Мартин (2013). *Основные понятия метафизики. Мир, конечность, одиночество*. СПб.: Владимир Даль.
- Шкловский, Виктор (1925). «Искусство как прием» [1917]. В кн.: Шкловский, Виктор, *О теории прозы*. Москва: Круг.
- Arbib, M. A. (2005). "From Monkey-like Action Recognition to Human Language: An Evolutionary Framework for Neurolinguistics". *Behavioral and Brain Sciences* 28.2: 105–167.
- Badiou, Alain (1988). *L'Être et l'évènement*. P.: Seuil.
- Bickerton, Derek (1981). *The Roots of Language*. Ann Arbor, MI: Karoma.
- Braidotti, Rosi (2013). *The Posthuman*. Cambridge: Polity Press.
- Brandenberger, David (2010). "Stalin's Populism and the Accidental Creation of Russian National Identity". *Nationalities Papers* 38.5: 723–739.
- Byrne, Richard, and Andrew Whiten, eds. (1988). *Machiavellian Intelligence. Social Expertise and the Evolution of Intellect in Monkeys, Apes, and Humans*. Oxford: Clarendon Press.
- Cann, Rebecca, Mark Stoneking, and Allan Wilson (1987). "Mitochondrial DNA and Human Evolution". *Nature* 325: 31–36.
- Celan, Paul (1986). *Gesammelte werke in fünf bänden*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Clastres, Pierre (1989). *Society Against the State*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Clastres, Pierre (2010). *Archeology of Violence*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Deacon, Terrence (1997). *The Symbolic Species: The Co-evolution of Language and the Brain*. New York: Norton.
- Dunbar, Robin (1996). *Grooming, Gossip and the Evolution of Language*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Forster, Peter, and Shuichi Matsumura (2005). "Did Early Humans Go North or South?" *Science* 308.5724: 965–966.

- Foucault, Michel (2015a). *Punitive Society*. Trans. Graham Burchell. New York: Palgrave MacMillan.
- Foucault, Michel (2015b). *Théories et institutions pénales*. Paris: Seuil.
- Franklin, Michael, and Michael Zyphur (2005). "The Role of Dreams in the Evolution of the Human Mind". *Evolutionary Psychology* 3: 60–78.
- Gallese, V., L. Fadiga, L. Fogassi, and G. Rizzolatti (1996). "Action Recognition in the Premotor Cortex". *Brain* 119.2: 593–609.
- Gehlen, Arnold (1988). *Man, His Nature, and his Place in the World*. New York: Columbia University Press.
- Haraway, Donna (1991). *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*. New York: Routledge.
- Knight, Chris (1998). "Ritual/Speech Coevolution: A Solution to the Problem of Deception". In *Approaches to the Evolution of Language*, eds. James R. Hurford, Michael Studdert-Kennedy and Chris Knight, p. 68–93. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kozintsev, Alexander (2010). *The Mirror of Laughter*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
- Leatherbarrow, William, and Derek Offord, eds. (2010). *A History of Russian Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Masataka Nobuo (2007). "Music, Evolution and Language". *Developmental Science* 10.1: 35–39.
- Revonsuo, Antti (2000). "The Reinterpretation of Dreams: An Evolutionary Hypothesis of the Function of Dreaming". *Behavioral and Brain Sciences* 23: 877–901.
- Tajfel, Henry, ed. (1978). *Differentiation between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations*. London: Academic Press.
- Tomasello, Michael (1999). *The Cultural Origins of Human Cognition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Virno, Paolo (2013). *Il saggio della negazione*. Rome: Bollati Boringhieri.
- Weller, Shane (2016). "From 'Gedicht' to 'Genicht': Paul Celan and Language Scepticism". *German Life and Letter* 69.1: 69–91.